

СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

Микола
Винграновский

Год с Довженко

Лауреат Государственной премии Украинской ССР имени Т. Г. Шевченко Микола Винграновский — известный украинский поэт, признанный прозаик, постановщик многих художественных фильмов.

Неисчерпаемость его таланта разглядел, умножил, направил Александр Петрович Довженко. Он стал наставником Винграновского с первых его шагов в искусстве.

К середине сентября, когда в стране будет отмечаться 90-летие со дня рождения А. Довженко, М. Винграновский в сотрудничестве с режиссером Л. Осыкой и народным артистом СССР К. Степановым подготовили сценическую композицию по «Дневнику» Александра Довженко. Микола Винграновский выступает в ней одним из постановщиков и исполнителем роли молодого Довженко.

«Год с Довженко». Так назвал ученик свои воспоминания. Но, по сути, с Довженко в душе и сердце писателя, кинематографиста Винграновский живет почти три десятилетия, всю свою творческую жизнь.

Итак, лето 1955 года. Я стал студентом актерского факультета Киевского театрального института.

Киев первого студенческого сентября стал для меня столицей мира, увлекательных лекций, репетиций, футбола, арбузов и стихов.

Где-то в середине сентября мне внезапно предложили, кроме занятий по актерскому мастерству, посещать занятия еще и по режиссуре. Кто такое придумал, я до сих пор не знаю. В дальнейшем я стал учиться и там, и там. На режиссерском курсе студенты были значительно старше меня, а их вначале боялся, а потом привык. Мне сразу понравилось, что говорят они не так громко, как мои однокурсники. А то, что они бросали на мою персону свои слишком пренебрежительные и высокомерные взгляды, это не беспокоило меня: они без пяти минут режиссеры, а я кто?

Начались всяческие режиссерские разработки, анализ пьес, черчение мизансцен, и я накинусь на эту работу, как огонь на сухую солому...

Была вторая половина сентября. Меня вызвали с лекций. В коридоре секретарша странным голосом сказала, чтобы я шел прямо в кабинет ректора и что там со мной хочет говорить Довженко. Кто такой Довженко — я не знал. «Кто же это такой», — думал я, — и почему такой тихий голос у секретарши?»

Подхожу к дверям кабинета ректора. Вхожу. Останавливаюсь у порога. За красивым бледно-ореховым столом сидит наш ректор, а на диване в голубую елочку, напротив окна с предзакатным солнцем, — седой, широкоплечий, крепкий человек. Это был Довженко.

Сразу же его взгляд упал на мои балетки... Несколько дней назад в моей той обувке отклеились подметки. Я подобрал медную проволоку как раз под цвет балеток и сшил ею подметки с передками так, что в институте, а тем паче на улицах, никто того не замечал и не заметил бы сразу... Довженко усмехнулся. Я покраснел... Ректор назвал мою фамилию. Довженко — свою. Наступила пауза. Довженко весело рассматривал меня. Мне стало неуютно под его взглядом, плечи мои в синей безрукавке поднялись, ссутулились, как у древнего египтянина. Так я стоял, склонив голову на ключицы.

Тогда Довженко спросил, откуда я, из какой семьи, сколько у нас детей и какая у нас речка, много ли молодежи из нашего села поехало поднимать целину, есть ли в нашем колхозе лошади и сколько? Я отвечал и удивлялся тем вопросам. Если бы таких вопросов да побольше мне на экзаменах!

Потом Довженко спросил, не болят ли у меня пятки. Ректор как-то особенно вопросительно глянул на Довженко. Пятки у меня действительно болят. Балетки же были без каблуков. Когда ходишь в них по грунтовой дороге — пятки не болят, а как походишь по асфальту — ноют.

— Болят, — ответил я, и сразу мне стало легко, и тогда я,

уже в свою очередь, глянул, во что обуи и одет Довженко. Он заметил это, откинул голову на голубые елочки дивана и засмеялся. В предзакатном сентябрьском солнце его загорелое лицо светилось темным ржаным золотом.

Довженко спросил, что я читал на экзаменах. Я читал «Гонта в Умани» — трагическую главу из поэмы Шевченко «Гайдамаки». Он попросил прочитать. Я прочитал. И когда я окончил читать, Довженко вдруг порывисто встал. Встал и мгновенно изменившимся, резким, беспрекословным, властным голосом сказал, что забирает меня с собой в Москву, в киноинститут.

Еще горячий от «Гонты в Умани», я посмотрел на ректора. Медленно поднялся и ректор. Но я уже знал: кто и что бы сейчас ни сказал, запретил, ни пустил — я уже принадлежу этому человеку. Он — мой.

Так оно и вышло. Ректор тихо говорил Александру Петровичу, что я еще молодой, что меня только что приняли в театральный институт, теперь посещаю и режиссуру и что в Москве мне будет трудно...

Но Довженко, не говоря и слова, порывисто вынул записную книжку, быстро что-то в ней написал, оторвал страницу, протянул мне и сказал, чтобы по этому адресу я пришел к нему завтра в семь вечера. Это был адрес и телефон его сестры Полины Петровны.

Вечер и всю ночь наша комната в новом общежитии была блокирована студентами, особенно старших курсов. Все, кто видел, слушал, читал Довженко, говорили о нем. Меня учили, как вести себя с Довженко, каким голосом с ним говорить, в каких случаях с ним вообще молчать. Короче говоря, молодые «довженковеды» адресировали меня так, что весь следующий день я ходил, как лунатик.

В семь вечера холодной, не своей рукой нажал кнопку звонка. Двери открыла Полина Петровна и пригласила войти. Из комнаты, крайней от двери, вышел Александр Петрович: в очках, бледно-голубой сорочке, молодой и чем-то доволный. Он попросил у Полины Петровны чаю и повел меня в комнату, усадил, взял со стола лист бумаги и начал читать из «Зачарованной Десны» то место, где он, маленький Сашко, едет с отцом на сенокос... Довженко вел слово по единственно известной ему дороге, впереди которой шли его глаза: все было исключительно зримо, осязаемо и ясно — даже воздух можно было брать руками.

Довженко читал долго, в голосе его не было суеты. Иногда он поглядывал на меня. Я запоминал и запомнил все с первого и до последнего слова — так оно мне все пришло по душе. Легкая моя память сразу же вбирала в себя все, что ей нравилось.

Закончив чтение, Довженко заинтересовался, сколько мне лет. Я сказал и спросил:

— А кто это написал?

В школе и уже в институте все мои учителя читали и говорили из книг и по книгам

писателей. Писатель для меня было и есть что-то вроде Вселенной. И когда я снова спросил:

— Вы писатель? — Довженко положил лист бумаги на стол, сел, о чем-то подумал, и ему стало грустно.

Полина Петровна принесла чай. Довженко молчал. Полина Петровна посмотрела на Александра Петровича, а потом на меня. Мне стало холодно. Полина Петровна вышла, Довженко продолжал думать о чем-то своем... Я хотел убежать. Мне стало страшно, что я мог обидеть или сказать что-то не то этому человеку... В коридоре зазвонил телефон. Довженко поднялся и вышел к телефону. На столе, исписанный мелкими, как зерна яблоки, буквами, лежал лист, а из-за стекла в шкафу с фотографии смотрел на меня Довженко. С фотографии глаза Довженко смотрели спокойно и строго.

В комнату после телефонного разговора Довженко вошел так, словно он только что бежал. Он подошел к столу, собрал исписанные листы и сам себе сказал, что хочет немедленно уезжать. Он был хмурый, и края его губ опустились в печаль.

Довженко снова сел. Дышал он тяжело и громко, на щеках и надбровьях выступили красные пятна. Я встал, чтобы идти. Довженко посмотрел на меня и в серо-зеленых глазах его были боль и обида, упавшие на него во время телефонного разговора.

Уже на лестнице меня окликнула Полина Петровна и дала мне пятьдесят рублей на новые балетки, как она сказала, от Александра Петровича.

В тот вечер я в общежитие не пошел, а пошел в Ботанический сад на окраину Киева и там в кустах переночевал. В Ботаническом саду стоял угадывающий запах флоксов. В ту ночь я, наверное, не спал, потому что мне ничего не снилось. Перед глазами был лист, исписанный яблоневыми семечками, и в вшах звенел недобрый телефон.

Проходили дни. Лекции урывались, как вода. Была суббота. В один из перерывов ко мне подошла секретарша и тайным, подпольным голосом велела мне пойти в библиотеку. В библиотеке на столе лежала телеграмма: мой Довженко звал меня к себе в Москву... Поплыли по небу неподвижные облака! «Ой», — сказала секретарша, — если бы в эту минуту видел тебя твой Довженко!»

Белый осенний воздух на перроне дрожал. Будущие за служенные и народные артисты, а покамест мои однокурсники провожали меня с виноградом в руках и смеялись на удивление громко, словно я ехал на международный фестиваль.

В Москве падал лист. Молодая осень спешила. В вестибюле моего нового института пахло свежими огурцами — так всегда пахнет свежая краска. Я зашел в деканат и сказал, что я — к Довженко. В деканате подняли брови и сказали, что Довженко бывает в институте по средам и пятницам. Ага. Ясно. Сегодня был понедельник. Мой любимый чемодан в руке сразу стал тяжелым. Я собрался идти на вокзал: переночую эти две ночи там.

— А вы, случайно, не тот ли?

— Тот...

— Да-а-а?

Деканат приготовился, очевидно, встретить привезенного самим Довженко с Украины, ну, хотя бы Тараса Бульбу...

Через несколько минут я уже сидел в аудитории среди

своих будущих товарищей и друзей. Только — что такое? Что за лица? Как на плакате «Мир — мир»... Так оно и оказалось: Испания и Корея, ГДР и Иран, Эстония, Грузия, Россия, Татария, Узбекистан. Все это — мастерская Довженко. Наш Мастер собрал таких вот нас со всего света под свои, известные миру художественные знамена учиться. Как все чудесно начинается!

Но вечером в тот день произошло такое: ко мне подбежал какой-то студент и обреченно спросил:

— В футбол играешь?

И я понял, что футбольная честь нашего института в тот вечер зависит и от моих ног.

Когда во втором тайме я врезался головой в штангу, кто-то с трибуны женским голосом прокричал: «Отелло!!!» Из головы «Отелло» журчала кровь, и после матча пришлось подстричься...

Но — приближалась среда. Среда... Довженко... Если б во мне был здравый смысл, я бы с него сошел: стриженный, с синим, как виноградная гроздь, синяком под глазом, я должен был предстать перед глазами Довженко.

Утреннее солнце разлилось в стерильной чистоте аудитории. Все ждали Довженко. Ждал его и я, забывшись в угол под стеной, нагнувшись голову, как перед эшафотом.

И вот в девять ноль-ноль в аудиторию вошел Довженко со своими ассистентами. Все встали. Одним глазом из-за спины выглянул и я. Довженко рассматривал каждого своего ученика отдельно. И когда все сели, я согнулся еще ниже: слава богу, Довженко меня не заметил. Довженко подошел к окну, и, словно охватывая что-то руками, сказал, что на прошлой неделе приехал с Украины тихими осенними руками он стал нам показывать каховские берега и саму Каховку. Довженко говорил о строителях и птицах, бульдозерах и большой воде. Довженко говорил о коммунизме. Коммунизм был его любовью и надеждой.

Довженко говорил о мировоззрении. О науке мышления, о чувствах, народах, времени. Он был зачарован. Он был в плену Каховки, ее людей, воздуха, Днепра, грандиозного наступления на засушливые степи. Его душа, его талант, фантазия принадлежали великому преобразованию юга Украины. Каховка вернула Довженко молодость.

Прошел час, другой. Лип своих однокурсников я не видел, но видел лица ассистентов Довженко: невольно забыв, что они наши преподаватели, они, слово чести, напоминали мне людей, впервые севших за школьную парту. Кроме новизны мыслей, неожиданной и стремительной образности, волшебности, Довженко владел еще каким-то чудодейственным гипнозом рассказчика. Все поднялись и подошли к Довженко. Я тихонько под стеной хотел прискользнуть к дверям, но кто-то из преподавателей позвал меня. Я остановился. От окна на меня смотрел Довженко. Ноги мои словно кто-то прибил к полу гвоздями.

Прикрыв рукой виноградный глаз, другим я смотрел туда, где пахло обратной, железной дорогой домой. Довженко подошел, взял мою стриженую голову, повернул ее туда-сюда, словно хотел отвинтить, и сказал:

— Товкач! Какой товкач!

Все засмеялись...

Вечером того же дня я впервые переступил порог

квартиры Довженко. В ясном маленьком коридоре стояла Юлия Ипполитовна. Она была в тот вечер взволнованно-торжественная, красивая. Ее красота поразила, потрясла меня.

Довженко был не один. В комнате сидели люди. В окне на форточке висела занавеска из марли, и за той марлевой занавеской гудел внизу машинами проспект. Довженко поздравил меня со своими гостями: Шостакович, Шкловский, Ливанов, Козловский, Хикмет. Но что главным образом мне понравилось в квартире Довженко — это телевизор! Около телевизора Довженко меня и посадил. Шел разговор о нашумевшем романе Дудинцева «Не хлебом единым». Потом Довженко начал рассказывать о какой-то новой украинской повести (то была «Родная сторона» Василия Земляка). Вдруг спросил меня, не пишу ли я стихи.

После того вечера Довженко приказал мне засесть для начала за гречок и римлян. Ох, эти бородастые древние греки и свежесбранные древние римляне! Я окопался в золотой земле давних времен, но ноги мои и во сне бежали к девчатам: не мог же я допустить, чтобы из нашего института наших девчат переманивали на концертные вечера в другие вузы, ну, скажем, типа МГУ.

За это мне и поало. Учился я легко, с налета, спал на голой сетке без матраца и одеяла, но кто-то донес, и Александр Петрович «взял меня в работу»: и за девчат, и за курение, только про футбол ничего не сказал.

После того разговора страшнейшим местом для меня стала сцена, где мы, студенты, играли отрывки из пьес: как назло, я играл в этих отрывках все любовные роли. Господи, каково мне было! Александр Петрович смотрел из зала!.. Я возненавидел каждое любовное слово, написанное Лесковым, Гауптманом, Вишневским. Но нужно было играть, зарабатывать оценку, заодно и стипендию. Только горе: стипендию мне перестали платить, по физкультуре — «двойка». В нашей институтской футбольной команде играть было неинтересно, я играл за другую, клубную команду, за это мне, «предателю», — «двойка».

Александр Петрович узнал про это. Ничего не сказал. А когда поздними вечерами я выходил от него, Юлия Ипполитовна в карман моего пиджака клала деньги.

В журнале «Дніпро» вышла «Зачарованная Десна». Александр Петрович, глядя на тот номер журнала, не верил, что так оно и есть.

— Микола... «д» у него было мягкое, полтавское, — садитесь и кадрируйте мою Десну!

Как он любил этот журнальный номер! Любил той любовью, имя которой — страдание.

Всегда с ним была его любовь. Как внимательно она оберегала его от суеты и неправды, как стремительно создала для единственного на свете — для людской общности, народа...

В его глазах пролетал снег...

В Доме литераторов Довженко читал «Поэму о море». Я там был. Пробрался на антресоль, сидел в пальто и слушал своего учителя три часа. Народа там было полно.

Вечером, когда сказал Довженко, что я там был, Александр Петрович как-то счастливо посмотрел на меня и попросил рассказать, как он читал и что было после.

...Шла поздняя осень.

Авторизованный перевод с украинского Л. ВИРИНОЙ.

* Товкач — по-украински пестик в ступне.